

The image is a dark, atmospheric landscape. In the foreground, a small, dark house with a single lit window sits atop a hill. A small figure of a person stands near the house. The background consists of rolling hills and mountains shrouded in mist or fog. The sky is dark, with a large, textured, circular graphic element in the center. The word "ОТТЕНОК" is written in white, serif capital letters across the middle of the image, partially overlapping the circular graphic.

О Т Т Е Н О К

loud silence

Loud silence

Оттенок

<https://litres.ru/74632317>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ночная хижина, травяной чай и старик, который задаёт простые вопросы об искусстве. Гость отвечает честно и не замечает, что весь вечер говорят вовсе не о сапогах.

Содержание

Глава I. Чай	4
Глава II. Мастер	14
Глава III. Глаза	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Loud silence

Оттенок

Глава I. Чай

Дверь открылась прежде, чем он успел постучать. В проёме стоял старик: невысокий и худой, с тихим внимательным лицом, по которому невозможно было определить ни возраста, ни настроения. Седые волосы лежали неровно, а рубаша была тёмной и простой. Он кротко посмотрел на внезапного гостя без капли удивления и чуть отступил вглубь, освобождая порог.

— Заходи. Я как раз заварил.

Голос был ровным, негромким, с той тёплой хрипотцой, которая остаётся у людей, привыкших жить в одиночестве и не отвыкших при этом от речи. Гость переступил обветшалый порог, а за его спиной мягко прикрылась дверь. Звук был такой короткий и такой домашний, что напряжение, накопленное за день, начало отпускать его само собой, без всякого участия с его стороны.

Внутри было тепло и сумеречно. Хижина состояла из одной комнаты с низким потолком и тёмными балками, в трещинах которых лежала тонкая, давно не тревоженная пыль. Посередине комнаты твёрдо стоял стол: неровный, тяжёлый,

с двумя глиняными чашками, расставленными так ровно, будто на протяжении многих лет их ставили в одну и ту же минуту каждого дня. По обе стороны стола — два кресла, уставшие временем, но всё ещё удобные и уютные. У дальней стены чернела печь, дверца которой была прикрыта неплотно, и в щели шевелился приятный домашний свет. Вдоль другой стены тянулась полка, уставленная книгами: корешки были тёмные, неровные и не имели названий. От их количества и от того, что названия эти были вовсе не нужны, у гостя возникло короткое, мирное чувство: он вошёл к человеку, у которого вся жизнь сложена в этой одной комнате и ничего лишнего в ней нет.

В углу, на стене, висела картина. Гость хотел было посмотреть на неё, но взгляд скользнул мимо, зацепившись за тёплый блик на чайнике, и больше он к этой картине не возвращался. В доме пахло сухим деревом, какой-то травой и тем неуловимым теплом, которое держится в домах, где давно живут в покое.

— Садись, — сказал старик и сам опустился в своё кресло. — Чай ещё горячий.

Гость сел. Кресло мягко приняло его, и он почувствовал, как тяжесть, которую он нёс на плечах весь день, опускается куда-то вместе с ним, в подушку, в дерево и, наконец, в пол. Он положил руки на колени, и руки тоже легли удобно: каждый палец нашёл своё место, не задумываясь.

Старик налил ему чаю. Чай был тёмный, почти чёрный, и

пах травами, которые гость не сумел узнать. Не зверобой, не мята, не чабрец — что-то другое, тише и глуше, но не чужое. В этом запахе была та самая тёплая сухость, которая всегда стоит в шкафах с травами, собранными хорошим человеком в нужный день. Гость обхватил чашку обеими руками, и тепло быстро прошло сквозь глину в пальцы, потом в запястья, потом дальше, и где-то очень глубоко внутри, в месте, о котором он никогда не думал, отпустило что-то, чего он не сумел бы назвать. Он сделал глоток, и чай был действительно хороший. Не сладкий, не горький, а такой, какой бывает у человека, заваривающего его не для гостей, а для себя самого, изо дня в день, многие годы.

— Хороший чай, — сказал гость.

— Хороший, — согласился старик. — Я его сам собираю.

И больше об этом не сказал ничего, и гостю отчего-то понравилось, что не сказал. Какое-то время они посидели в молчании, которое оказалось на удивление лёгким, без той настороженности, которая обычно повисает между незнакомыми людьми, когда они впервые оказываются рядом. Это было молчание двух людей, у которых нет причины спешить. Даже темнота за окном была ровной: без огней, без движения. Гость посмотрел туда один раз, не увидел ничего, что стоило бы рассмотреть, и больше не смотрел. Ему было удобнее держать глаза в комнате: на неподвижном тёплом свете, на ладонях старика, лежавших на столе, и на тонкой струйке пара над чашкой.

Старик пил маленькими глотками и двигался очень спокойно, без той болезненной скованности, которую обычно приносит с собой возраст. Каждое его движение было обдуманым заранее, не сейчас, а когда-то давно, и теперь повторялось по памяти. Гость отметил это краем сознания, но без особенного интереса, и забыл. В комнате было слишком тепло, слишком хорошо, чтобы за что-то цепляться.

— Издалека? — спросил наконец старик.

— Издалека.

— Бывает.

И всё. Ни вопроса, кто он, ни откуда. Ни той осторожной любознательности, которая бывает у людей, живущих в одиночестве, когда к ним кто-то приходит. Только короткое «бывает», сказанное так, будто старик и в самом деле повидал в своё время много того, что бывает, и давно перестал этому удивляться. Гость отпил ещё. От чая внутри становилось спокойно и тихо. Он подумал, что хорошо было бы сейчас не двигаться никуда: просто сидеть, держать чашку, смотреть, как у старика мелко подрагивают веки, когда он опускает глаза, как тёплый блик на боку чайника не дрожит, а стоит на месте, и как тонкая струйка пара поднимается всегда одинаково, одним и тем же спокойным росчерком. Он было подумал, что нужно будет потом спросить, далеко ли до ближайшей дороги, но мысль пришла и ушла, не оставив за собой никакой настойчивости. Следом, всего на секунду, мелькнуло: «А куда он, собственно, шёл?» Однако

и эта мысль тут же растаяла, не успев укорениться. В комнате было слишком хорошо, чтобы держать в голове такие вопросы.

— Руки у тебя, — сказал вдруг старик.

Гость поднял на него глаза. Старик смотрел не на лицо, а ниже: на пальцы, обхватывающие чашку, на тёмные, коротко срезанные ногти, на тонкие шрамы поверх костяшек и на ту корявую, потёртую крепость, которая бывает у рук тех, кто всю жизнь упорно трудился, чтобы заработать себе на хлеб.

— Что – руки?

— Хорошие. Много чего касались.

Гость хмыкнул и посмотрел на свои ладони. Действительно, было на что смотреть. Шрам через большой – от ножа, давно; чёрная полоса под ногтем указательного – это было ещё раньше, и он уже не помнил отчего; мозоль у основания большого, твёрдая, как сухой плод; и тонкий белый росчерк на тыльной стороне правой кисти, происхождения которого он тоже не помнил, и от того, что не помнил, на одну секунду в груди стало неуютно, будто кто-то расписался у него на коже его же собственным почерком, а он забыл.

— Работа есть работа, — сказал он.

— Работа, конечно. — Старик кивнул, отпил, помолчал. — А только руки человека говорят о нём, наверное, больше, чем он сам хотел бы. Лицо складывается в любое выражение, голос ставится. А руки уже не переделаешь, в них всё остаётся.

— Что — всё?

— Всё, чего ты касался. Всё, что ты держал, и всё, что ты отпустил. Всё, что ты делал хорошо, и всё, что ты делал плохо. Всё это потихоньку складывается в пальцах. Не в виде памяти, вовсе нет. А в виде особой тихой ловкости, которая потом сама знает, что делать, когда ум ещё не решил. Руки хранят воспоминания.

Гость подумал об этом. Он подумал о том, как его правая рука, не дожидаясь команды, выбирает гвоздь нужной длины из горсти, не глядя. О том, как левая, без всякого усилия, ложится на дерево там, где трещина, ещё до того, как он эту трещину разглядит. И о том, как однажды зимой он разнял двух дерущихся мужиков, не успев подумать, что разнимает: сначала развёл руки, а потом уже понял, что собирался сделать. И о том, что да, наверное, в этом было что-то такое. Какое-то знание, в котором его собственная голова не участвует.

— Получается, у каждого свой музей тогда, — сказал гость негромко.

Старик улыбнулся. Улыбка была короткой, без зубов, только лёгкое движение в углах рта, но от неё в комнате что-то едва заметно потеплело, и гостю почему-то стало приятно, что он сказал именно эти слова, а не какие-то другие.

— Музей, — повторил старик, пробуя слово на вкус. — Хорошо ты сказал.

В печи тихо щёлкнуло, и снова наступила тишина, в кото-

рой было хорошо сидеть. Гость отпил ещё, чай был всё такой же горячий и удобный для питья. Он почувствовал, что улыбается, не по какой-то определённой причине, а просто так, как улыбаются, когда внутри тепло, а снаружи никто никуда не торопится.

— А тебя как звать-то? — спросил он наконец сам, потому что молчание становилось уже долгим, и вежливость велела что-то спросить.

— Зови как хочешь, — сказал старик. — Я давно к именам не прислушиваюсь. А тебя?

Гость открыл было рот и обнаружил, что не помнит. Это была странная, ровная пустота без испуга, как если бы его спросили имя соседа, с которым он давно не виделся. Он повёл плечом и отвёл глаза в сторону, чтобы старик не заметил его замешательства, а после сказал первое, что пришло на язык:

— Да зови как хочешь и ты. У нас в краях имена быстро стираются.

— Стираются, — повторил старик медленно. — Бывает и так.

И больше об именах они не говорили, и гость почувствовал короткую благодарность, не понимая, к чему именно она. Старик неторопливо поправил рукав и провёл ладонью по краю стола, стряхивая что-то невидимое, чего там, конечно, не было.

— А ты в искусстве разбираешься?

Вопрос был задан так буднично, между двух глотков, что гость даже не сразу понял, что у него что-то спросили. Так спрашивают, не нужен ли ещё чай или не пора ли подбросить дров. Гость удивлённо усмехнулся.

— Я-то? Куда мне.

— Почему – куда тебе?

— По-простому я живу. Не учился особо. Картин этих в книжке мельком и видел, и то – мельком. Какое тут разбираться.

Старик слушал внимательно. Не из вежливости, не из приличия, а действительно слушал. Это выдавалось тихим вниманием, которое отличает человека, которому интересно, от человека, который ждёт своей очереди говорить. Когда он заговорил снова, голос его стал ещё тише.

— А может, ты разбираешься больше, чем сам думаешь.

— С чего бы?

— Руки. Я ведь не зря на них смотрел. У человека, который в жизни много чего касался, плохого и хорошего, внутри уже какое-то знание складывается. Не книжное. Молчаливое. Он, может, и слов не знает, чтобы это объяснить. А ткни его в любое – он скажет тебе: живое там или мёртвое.

— Это уж не знаю.

— В таком случае давай проверим.

Сказано было совсем легко. Без нажима и без той осторожной серьёзности, которой обычно прикрывают важные предложения. Так предлагают сыграть в какую-нибудь игру

от нечего делать, пока в чашке ещё горячо. Гость подумал. Снаружи спешить было некуда, да и он, собственно, не помнил уже, куда шёл. Внутри было тепло, чашка в руках лежала удобно, кресло держало спину, а старик ждал ответа без всякой настойчивости. Гость пожал плечами.

— Проверь.

Старик не спешил. Он отпил из своей чашки, поставил её обратно ровно на то же место, с которого взял, и посмотрел на гостя поверх неподвижного пара. Взгляд был спокойный, без учительской важности, которая иногда появляется в людях, когда они собираются говорить о серьёзном. Скорее наоборот, в этом взгляде была какая-то почти домашняя простота, будто гость зашёл к старому другу, и сейчас они сядут обсуждать что-то незначительное и приятное, и времени у них впереди сколько угодно.

— Тогда первый вопрос будет лёгкий, — сказал старик.
— Чтобы тебе было с чего начать.

— Давай лёгкий.

Старик чуть наклонился вперёд, положил руки на стол и переплёл пальцы. И тут гость заметил, что руки у старика тоже непростые: с тонкими, хорошо проступающими венами, с длинными, чуть смуглыми пальцами, в которых была какая-то особенная, почти мастеровая определённости. Со всем не такие, как у работника. И не такие, как у книжного человека. Какие-то другие, и он не сразу сумел бы сказать какие, но додумывать эту мысль он не стал. Чай был всё ещё

горячим. Он сделал ещё глоток и сказал:

— Спрашивай.

Глава II. Мастер

— Скажи мне, — начал старик, — что такое искусство?

Гость задумался: он начал не с ответа, а с того, что попытался понять, чего, собственно, от него хотят. Слово было большое, общее, такое, под которым у каждого своё. Можно было сказать про картины, можно про песни, а можно про то, как деревенская баба вышивает узор на полотенце. Везде это слово как-то применялось и везде, наверное, обозначало что-то своё. Гость подержал в голове все эти разные искусства разом, посмотрел на них вместе и понял, что общего у них одно: всё это люди делают руками, и не для того, чтобы не помереть с голоду.

— Искусство, — сказал он, — это когда человек что-то делает не по нужде.

Старик посмотрел на него внимательно.

— Не по нужде?

— Ну да. Дрова рубить – это по нужде, без них замёрзнешь. Хлеб печь – тоже. А вот когда человек уже сыт, и ему тепло, и крыша над головой, а он всё равно сидит и что-то такое делает, чего никто от него не просит, – вот это, наверное, оно и есть.

Старик помолчал. Он не показывал своим видом, согласен он или нет: не возражал и не одобрял. Просто слушал и думал. Гостю понравилось, как старик молчит после его

слов. Выходило, что эти слова чего-то стоили и над ними имело смысл подумать. Гость к такому не привык: чаще всего, когда он что-то говорил, ему отвечали сразу или не дослушав, или вовсе не отвечали.

— Хорошо, — сказал наконец старик. — Хорошее начало. А вот скажи мне теперь: вышел ты, допустим, во двор. Сидит мальчишка, лет пяти, и палочкой по земле что-то рисует. Не для того, чтобы кому-то показать, не за хлеб. Просто рисует. Это — искусство?

Гость хмыкнул. Хороший вопрос: и так и сяк можно повернуть.

— Это зависит, — сказал он медленно, а потом затих.

— От чего? — спросил старик, на этот раз быстрее обычного.

— От того, что у него на земле получилось.

— А если у него получилось красиво?

— Ну тогда искусство, наверное.

— А если караули?

— Тогда не искусство, а просто мальчишка балуется.

Старик кивнул, отмечая что-то про себя.

— Стало быть, тебе уже мало того, что человек делает не по нужде. Тебе ещё надо, чтобы получилось красиво.

Гость подумал: «И правда, вначале сказал одно, а вот сейчас уже имел в виду другое». Получается, не по нужде — это ещё не всё. Нужно, чтобы и вышло хорошо.

— Стало быть, надо.

— А что значит — красиво? — спросил старик с лёгкой доброй улыбкой. — Ты сможешь рассказать мне?

Гость повертел чашку в руках. На этот вопрос у него прямо во рту никакого ответа не лежало. Слово «красиво» он, как и всякий, употреблял по сто раз на дню и никогда не задумывался, что под ним. Закат красивый, девка красивая, конь красивый. Все эти красоты разные были, ничего общего у заката с конём вроде бы и нет, а слово одно. Стало быть, что-то общее между ними всё-таки есть. Тогда гость посмотрел на свет в печи: он был неподвижный, ровный, и по дереву балок ходили медленные медовые отблески.

— Красиво, — сказал он, — это когда смотришь и не можешь не смотреть.

И стоило ему произнести эти слова, как он удивился, что их сказал. Слова вышли не из головы, а откуда-то снизу, из груди, и, пока он их говорил, начал понимать, что они правда. Бывает же: глядишь на закат, и уйти не можешь. Конь идёт по полю, и оторваться от него не получается. И девка, которая красивая по-настоящему, такая, что не то чтоб разглядеть хочешь, а просто стоишь и любишься, и забываешь, зачем стоял.

— Не можешь не смотреть, значит, — повторил старик. — Это, друг мой, ты сейчас назвал вещь, над которой умные головы не одно столетие гнутя.

— Да брось.

— Это правда. Когда философы пытаются объяснить, что

такое красота, у них всегда выходит что-нибудь длинное и непонятное. А ты сказал коротко, притом в самую точку. Красота – это то, что притягивает взгляд. Что не отпускает. Можно полжизни думать и не сказать лучше.

Гость покачал головой. Старик его явно перехваливал, но похвала была не из тех, от которых неловко: она была тёп-лая, ровная, без всякой натуги. Будто старик в самом деле обрадовался.

— Ладно, — сказал гость, чуть улыбнувшись. — Сложилось у тебя, что ли?

— Сложилось. Только теперь, имей в виду, мы с тобой пошли уже не по плоскому. У нас с тобой искусство – это когда человек что-то делает не по нужде, и у него выходит так, что от этого глаз нельзя оторвать. Так?

— Так.

— А теперь поглядим, что у нас на этом стоит, и не под-ломится ли.

Старик отпил из своей чашки не торопясь и поставил её обратно на то же самое место. Гостю показалось, что он впервые за многие годы, а быть может, и за всю жизнь, получает удовольствие от разговора, как от чего-то отдельного, не зависящего от того, кто он, где и зачем сюда зашёл. Ему просто хорошо сидеть и думать. Хорошо, когда тебе кто-то задаёт вопросы, на которые ты, оказывается, можешь ответить, и ответы при этом вроде бы выходят не дурацкие. Он об этом раньше не задумывался, а теперь, заметив за собой это удо-

вольствие, удивился, что оно так его взяло.

— Вот тебе случай, — сказал старик. — Жил у нас один человек, сапоги шил. Сапоги шил так, что носить их было одно удовольствие: нога не уставала, и вид был такой, что хоть на свадьбу. А ещё в эти сапоги он, бывало, узор пускал. Не для красоты даже, а так, рука у него сама шла. Одни сапоги ходят по грязи, по сараям, и узор этот их хозяин в неделю замарывает. Другие сапоги, тоже его работы и тоже с узором, стоят у барина в шкафу, и барин на них раз в год смотрит и пыль смахивает. И вот скажи мне: в каких сапогах искусства больше?

Гость задумался.

— Ну, мастер один и тот же.

— Один и тот же, — одобрительно кивая, повторил старик.

— И руки у него те же, и узор он клал не для разницы.

— Не для разницы.

— Стало быть, в обоих сапогах поровну.

— Поровну?

— Поровну, — твёрдо сказал гость, чувствуя, что ответил правильно.

— А как же твоё «не можешь не смотреть»? Ведь грязные сапоги в сарае никто и смотреть не будет: кому они нужны. Их и не видит никто. А на барские все приходят, любуются. Получается, в барских сапогах того, что не отпускает взгляд, много, а в крестьянских нет. Стало быть, по-твоему же пра-

вилу выходит, что в барских искусства больше.

Гость посмотрел на старика.

— Вот ты ловкий. Сам же только что хвалил, а теперь подкапываешься.

Старик лишь скромно улыбнулся.

— Почему же подкапываюсь. Просто смотрю, крепко ли стоит. Крепкая вещь от того, что её толкнут, не упадёт, а слабая упадёт. И лучше эту слабую сейчас завалить и взять покрепче, чем потом с ней через всю жизнь идти.

— Ладно. Дай подумаю.

— Думай. Времени у нас впереди ещё много.

Гость задумался основательно. Он смотрел на чашку, в тёмный, почти неподвижный чай, и пытался понять, где у него получилась слабая доска. С сапогами выходило так: один и тот же мастер, один и тот же узор, одна и та же работа, а смотрят на них разное. И если искусство только в том, что не оторвёшь глаз, выходит, искусство не в сапогах сидит, а в глазах того, кто на них смотрит. А ведь сапоги-то одинаковые.

— Слушай, — оживившись, сказал он, — а тут, наверное, вот что. Искусство в самих сапогах, и там, и там. А что барин на одни смотрит, а на другие никто, так это уже отдельно, это про людей, а не про сапоги.

— Хорошо, — кивнул старик. — Значится, искусство — оно в самой вещи?

— Всё так, в самой вещи.

— А куда же делось твоё «не можешь не смотреть»? Ведь по нему выходило, что искусство там, где взгляд цепляется. А теперь ты говоришь: «Нет, в сапогах оно лежит, даже если на них никто не смотрит».

Гость слегка растерялся и почесал затылок. Получалось, что он сместился: сначала говорил одно, теперь говорит другое. И что хуже — оба раза вроде верно, и оба раза почему-то не до конца.

— Ну путаюсь я, — сказал он честно и слегка покраснел.

— Не стыдись, так и должно быть, — сказал старик мягко и успокаивающе. — Это хорошая путаница, она значит, что ты в правильное место упёрся. Если бы ты сразу одно сказал и потом по нему гладко прошёл, я бы тебе не поверил. А когда человек думает по-настоящему, он всегда к одному и тому же месту с разных сторон выходит, и каждый раз ему кажется, что впервые там оказался.

— И что это за место?

— А вот скажи сам. У тебя сейчас две правды получилось, и обе тебе кажутся верными. Одна — что искусство там, где взгляд за вещь зацепился. Другая — что искусство в самой вещи лежит, хоть бы её никто не видел. Попробуй сложить их.

Гость подержал обе мысли в голове, как держал бы в каждой руке по предмету, прикидывая на вес. Получалось у него странно: если соединить обе, то выходило, что в вещи лежит что-то такое, ради чего она вообще сделана, а вот достанется

ли это что-то человеку, это уже как повезёт. Может, человек посмотрит и пройдёт мимо, а может, остановится. Но в самой вещи определённо что-то есть. Оно лежит там, как мёд в сотах: можно зачерпнуть, а можно и не зачерпнуть, но мёд от этого никуда не денется.

— Получается так, — сказал он медленно. — В вещи что-то заложено. Что — не знаю, не назову. Но оно туда мастером положено, и оно там лежит. А подойдёт человек, может отсюда взять, а может и мимо пройти. Тут уж кто как сумеет.

Старик немного помолчал, а потом сказал тихо:

— А ведь это, друг мой, ты целую философию выложил.

— Какую философию?

— Самую настоящую. Большие головы об этом всю жизнь спорили. Одни говорили: «Искусство в самой вещи», другие: «Нет, в зрителе». Каждый о своём, и все друг с другом ругались. А ты сейчас одной фразой и тех, и других за пояс заткнул. У тебя получилось, что в вещи что-то есть, но достанется оно не каждому. Это, между прочим, один учёный человек уже сказал почти теми же словами, и его за это до сих пор чествуют.

Гость хмыкнул. По правде говоря, он не знал значения слова «чествуют», но по тону старика быстро догадался, что его снова хвалят.

— Так может, я этот учёный и есть. В прошлой жизни.

По лицу старика прошла лёгкая улыбка, которая в нём бывала редко, но всегда оказывалась к месту.

— Может, и так. Ты с виду на него не похож, но кто его знает.

Они помолчали. Гость почувствовал, что давно так не разговаривал. Если разобраться, никогда. У него никогда в жизни не было такого собеседника, который сидел бы напротив и слушал его так, будто его слова чего-то стоят. С мужиками на работе так не разговаривают: на работе если и говорят, то про дело, или травят какую-нибудь побасенку, чтоб скоротать обед. Дома жена слушает, но не так: слушает, чтобы услышать, нужно ли ей чего сделать или сходить. А чтоб вот сесть и думать вместе – этого с ним не случалось ни разу. И от этого внутри было хорошо, тепло и чуть-чуть горделиво, но по-доброму, не свысока, а так, как бывает, когда ты что-то такое сделал, чего сам от себя не ожидал, и теперь сам себя уважаешь больше. Старик отпил, поставил чашку и посмотрел на гостя.

— Ну хорошо, — сказал он. — Договорились мы с тобой, что в вещи что-то лежит. И достанется оно не каждому. А теперь ответь мне: вот мастер сел сапоги шить и, как ты говоришь, что-то в сапоги заложил. А он сам-то знал, что именно закладывает?

— Конечно, знал. Он же мастер. Не первый день шил.

— Знал, говоришь.

— А как же не знал. Сел, взял кожу, нитку, шило – и сшил. Чтоб шить, надо знать, чего шьёшь. Иначе у тебя сапог не выйдет, выйдет калоша.

Старик кивнул, как будто соглашаясь.

— Это верно. Чтоб сшить сапог, надо знать, как шить. А чтоб узор на нём пустить, надо знать, как узор пускать, тут ты прав. Мастер знает, как держать иглу, как подобрать нитку и как уложить стежок. Это он знает, и без этого никак.

— Ну вот.

— А я тебя не про это спрашиваю.

— А про что?

— Я тебя спрашиваю про то самое, что у тебя в сапогах оказалось помимо кожи и ниток. Не про работу, а про то, что в работу село куда-то глубже. Ты же сам сказал: «В вещи что-то лежит». Кто это «что-то» туда положил?

Гость хотел было сказать: «Мастер, конечно, кто же ещё», но вдруг осёкся и задумался. Он представил себе мастера из его мастерской: сидит человек, шьёт сапог, рука сама ведёт узор, потому что давно ведёт, привычно. Сидит он и думает, может, про обед, может, про дочку, а может, и вовсе ни про что не думает – устал, шьёт по привычке. И вот в этих сапогах потом что-то оказывается такое, на что барин в шкафу любит. А мастеру точно есть дело до этого «что-то»? Неужели он сидел и думал: «Положу-ка я сейчас в сапог такую штуку, чтоб барин в шкафу любовался»? Гость представил это и подумал, что нет, наверное, не бывает ведь так каждый раз. Стало быть, мастер шил сапог, а «что-то» в сапог уже само село мимо мастера?

— Ну... не знаю даже. Может, и не знал тогда.

— То есть оно само у него получилось.

— Может, и само.

— А если оно у мастера само получилось, выходит, мастер тут, в общем-то, и ни при чём?

— Как ни при чём? Он же сшил.

— Сшил. А вот это «что-то», всё-таки он его положил или оно само туда село?

Гость надолго замолчал и пристально разглядывал чашку с чаем, надеясь увидеть подсказку в редких чайных листьях. Это уже был не вопрос, на который у него на языке лежал ответ. Это был вопрос, над которым ему надо сесть и крепко подумать. Если мастер не знал, что закладывает, выходит, в сапогах оказалось что-то помимо его воли. Само. Но откуда тогда оно взялось? Если б из мастера, он бы знал. А раз не знал, значит, не из него. А откуда тогда?

— Отец, — сказал он наконец, — ты меня сейчас в такой угол загнал, что я и не знаю, как оттуда выходить.

Старик мягко улыбнулся, сглаживая замешательство гостя.

— А может, и не надо выходить. Может, пусть пока постоит, как стоит. Иногда вопрос лучше ответа. Ответ кончает разговор, а хороший вопрос его держит. И нам с тобой ещё долго тут сидеть.

Гость посмотрел на него.

— Это что, я опять что-то умное сказал?

— Не сказал. Но подумал. А это иногда бывает важнее.

Чай в чашке у гостя остыл совсем немного, и он отпил с удовольствием. Удивительно было это удовольствие: простое, тёплое, без всякого размаху. Просто сидишь, чай хороший, человек напротив хороший, разговор хороший. Чего ещё надо. Гость вдруг подумал, что дома у него такой простой минуты, чтоб ничего не делать и ничего не надо было, вроде бы и не случалось давно. Всё чего-то ждёшь, чего-то надо. А тут вот — ничего не надо. За окном было всё так же темно.

— Готов дальше? — спросил старик.

— Давай.

Глава III. Глаза

Старик отпил из своей чашки. Какое-то время они снова сидели молча, но тишина вокруг была не той, в которую ныряют, чтоб подумать, а той, в которую опускаются, чтоб дать осесть тому, что уже надумано. Гость чувствовал, что предыдущие слова ещё стоят в комнате и медленно остывают, как пар над чашкой, и спешить их разгонять незачем. Он тоже отпил, тёплая горечь чая прошла по нему хорошо. Гость снова поймал себя на том, что вспомнил про окно, и снова не стал туда смотреть. Что-то держало его глаза в комнате, и он объяснил это себе просто: уют, чего же ещё. Будто всё, что нужно для хорошего вечера, лежало здесь, на расстоянии вытянутой руки, и нечего ему было искать снаружи.

— Раз уж мы с тобой про того сапожника заговорили, — сказал наконец старик, не поднимая глаз, — давай его ещё немного подержим. Он у нас человек удобный, никуда не денется, и спросить его не у кого, так что мы его на любую сторону повернём, и он не обидится.

Гость улыбнулся. Сапожника он за этот вечер уже успел увидеть, как живого: тощий, в рубахе на голое тело, сидит в полутёмной мастерской, шьёт и бормочет что-то себе под нос. Сапожник был добрый, гость это понял по тому, как сам же его себе представлял, а всякий человек, сам того не зная, представляет других через собственное сердце, и ничто не

говорит так много о сердце человека, как то, какими он видит чужих людей в своём воображении.

— Ну давай подержим.

Старик помолчал, давая вопросу собраться. Гость уже привык к этим паузам: старик никогда не говорил сразу, всегда после короткого молчания, словно ему нужно было сначала подогреть слова.

— Ты сказал, в сапогах что-то лежит. И положил это туда мастер, может, сам не зная, что положил, но всё-таки он. А кто скажет, что в сапогах оно действительно есть? Кто это, так сказать, удостоверит?

Гость сперва подержал вопрос в голове. Он был довольно хитрый: вроде бы и понятный, а ткни в него пальцем – расплзается, как мокрая ткань.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.